Нехама ВАЙСМАН

Нехама Иоановна Вайсман родилась на Украине. В годы войны, с лета 1941 года по март 1944 года, находилась в еврейском гетто. В 1949 году закончила с отличием Киевский государственный университет имени Т.Г. Шевченко. С 1950 года живет в Благовещенске, преподает в Благовещенском государственном педагогическом институте (ныне университет). Профессор кафедры литературы, кандидат филологических наук. Ее статьи о творчестве отечественных и зарубежных писателей в течение многих лет регулярно публикуются в областных газетах, звучат по радио. В 1992 году вышла в свет ее книга о Благовещенском театре драмы и комедии "На сцене — человеческие сердца, в зале — человеческие сердца".

ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ

"ОТЧИЗНА РОДНАЯ, МЫ ЖДАЛИ ТЕБЯ"

...Пришла ко мне в школе и любовь. Вначале робко постучалась в сердце. Я стала замечать взгляды, которые бросали на меня ребята. Хотелось нравиться. Летя, как вихрь, на велосипеде, подаренном отцом, я чувствовала себя парящей над землей, ощущала упругость своего тела, ласку летящего навстречу ветра. В девятом классе стала выделять красивого стройного юношу — художника нашего класса Диму Чекайду, с которым мы вместе делали стенную газету... Погас свет. В вечерней полутьме наши пальцы соединились... Прекрасными и чистыми были наши тайные свидания. Тайные — потому, что мама запрещала мне дружить с мальчиком. Мы глядели на небо, искали самую яркую звезду — тогда звезды светили ярче, чем сейчас, я читала стихи Леси Украинки из "Лесной песни", и он, взяв меня на руки, казалось, убаюкивал, как ребенка.

Я вспоминаю его глаза, полные слез, на перроне 1941 года, куда я пришла проводить его, мобилизованного, на фронт. Узнав в 1944 году, что я осталась жить, он почти ежедневно писал мне письма с фронта.

Всем сердцем ждала его и я.

И снова я иду одна,
И снова грусть сжимает сердце,
И снова нет со мной тебя, мой друг,
Иду бесцельно...
Шумит вблизи ветвями бор,
Ворчливо Днепр выводит песню,
Январь, но так сейчас тепло,
И воздух так дрожит.
О, лейся, моя печаль,
Смешайся с небом, с облаками,
И вновь спустись на землю, тая
Сребристым снегом-молоком.
Хотела б сесть на ту скамейку,
Щеку горячую прижать
К снежинкам, тающим, как песня,
И тихо-тихо счастье звать...
Напрасно! Он далек, как сон,
На фронте где-то, где нет места
Моей печали и слезам,
А только жизнь, смерть и сталь…

Киев, январь, 1944 г.

Дима погиб в 1945-м, через несколько дней после Дня Победы, в Чехословакии...

Передо мной выпускная фотография нашего десятого класса. Нас 38, из них 22 мальчика. Остались в живых мой муж Зюня Перельман, Леня Скопич, Муся Ройтман, Юра Могильнер, Сема Айзенкоп, Юра Каминский. Судьба их всех — воевавших — спасла.

Погибли в самом расцвете юности на фронтах Отечественной Муся Гитман, Эйных Могильнер, Абраша Шерман, Люсик Моргенштейн, Дима Чекайда, Муся Вайнштейн, Изя Дац, Шейнкман, Векслер. Расстреляна в Печерском лагере смерти Женя Ваксенберг. Многие погибли без вести. Вечная память нашим школьным товарищам, отдавшим свои жизни за нас — живых.

Я вспоминаю их всех — красивых, нарядных, пришедших на выпускной бал 17 июня 1941 года. Большой П-образный стол, за которым мы сидим, глядя на своих учителей, на счастливых родителей. Мне доверено слово, и я страстно говорю: “Перед нами открыты все двери: двери вузов, наук и дворцов”. Кончаю словами любимого Маяковского: “Читайте, завидуйте! Я — гражданин Советского Союза!”. Дружные аплодисменты подтверждают: сердца наши бьются в унисон, мы все верим в это. Радостно кружимся мы в последнем школьном вальсе. Радостно бродим по улицам родного города в эту ночь, глядимся в воды

Днестра, планируем свои судьбы. Я разрываюсь между физикой, медициной и литературой. Политехнический, медицинский? Мы все — дети из еврейских, русских, украинских семей — чувствуем себя равными. Мы любим своих учителей — украинцев, евреев и русских. Любимейший из них — Николай Герасимович Дацюк, учитель физики, все знающий и очень требовательный (и сегодня звучит еще в ушах его бескомпромиссный глуховатый голос: "Сидай, ты ничого не тямыш, погано!"). Таким же бескомпромиссным он остался в оккупации: не желая сотрудничать с немцами, пошел плотничать по деревням.

И кто мог в ту ночь выпуска думать, что все наше единство рухнет, как карточный домик, через несколько дней. Наша жизнь нам, молодым, казалась прекрасной и нерушимой.

Да, многого мы тогда не знали. Родители прятали от нас свои мысли и тревоги. Учителя работали строго по программам. Я помню двухметровый портрет Ежова на улице. "Мама, какие у него красивые голубые глаза!" Мама молчит. Арестовали Зюниного дядю Ихила, — якобы за принадлежность к сионизму, — все молчат. Взрослые говорят об этом тишайшим шепотом. Таким же шепотом приехавший мамин земляк рассказывает о том, как фашисты в Германии преследуют евреев. Беседуют шепотом, так как боятся меня. Я, как и все мои ровесники, безоглядно верю во все, что нам вещают школа, радио, газеты. Ребята состоят в группе содействия пограничникам, и мой будущий муж также (он и станет впоследствии начальником погранзаставы). Я учусь стрелять из пулемета. "Если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ за свободную Родину встанет". Мы люто ненавидим троцкистов, бухаринцев — всех врагов народа, все мы болеем шпиономанией, все гордимся испанскими республиканцами, готовы жизнь отдать за отчизну, за любимого вождя...

Любим мы и свою малую родину — уютный городок Могилев-Подольский, утопающий в зелени садов, на левом берегу Днестра. Над ним высятся горы, а на той стороне — Бессарабия, чужая сторона, и когда мелькают вечерами огоньки, мы принимаем их за вражескую сигнализацию. Но днем тревога исчезает. Город благоухает запахами цветов, приятным дымком костров, на которых хозяйки варят варенья: вишневое, абрикосовое, виноградное, малиновое — всех сортов и не перечтешь. Больше всего запомнился запах слив, из которых получалось отменное повидло. Любимые варенья — из горькой черешни, из лепестков роз. А когда поспевали грецкие орехи, у всех руки чернели от едкой зеленой скорлупы. Зато как вкусны были ядрышки этих молодых плодов! Даже названия улиц — Садовая, Дачная, Виноградная — передавали очарование этого райского уголка. Над городком высились соборы: Греческая церковь, Покровская, костел, разрушенный перед самой войной. На большой Красной площади стояла таинственная

крепость — "турецкая", как ее называли, с подземным ходом под Днестром; потом ее разрушили и поставили на этом месте памятник Ленину, в честь которого переименовали и главную улицу города — Киевскую, усаженную каштанами и пирамидальными тополями. На ней и поныне стоит наша украинская школа N 1, которую почему-то сделали после войны русской и назвали шестой.

... Мы шли по булыжной мостовой улиц в эту последнюю нашу школьную ночь, взявшись за руки, пели песни и были еще все живыми...

Моя лучшая школьная подруга — тоже отличница — Ната Калашникова, как и я, приняла, наконец, решение поступать в мединститут. Натина мать, учительница, доверила моему отцу миссию — сопровождать ее дочь в Киев вместе со мной. 21 июня нас обеих, окончивших школу с золотыми аттестатами, приняли в институт. А ночью... началась война. Папа умолял меня остаться в Киеве и эвакуироваться вместе с другими студентами, но ведь я дала слово Наташиной маме привезти ее домой (держать данное слово было во мне воспитано сызмальства), и я не могла поступить иначе. Но главное — меня ждала мамочка! Нам нельзя разлучаться!

Мобилизованная, как и другие комсомолки, рыть противотанковые окопы над Днестром, я почему-то больше всего вспоминала стоны паровозных гудков, неумолчный их вой, стоящий над Жмеринкой, когда мы возвращались из Киева в переполненном товарном вагоне из-под угля; черный рупор репродуктора на Прорезной в Киеве, из которого доносился голос Молотова, вещавший о наступившей войне, и зловещие предчувствия охватывали меня волна за волной...

Ночью наш Могилев-Подольский бомбили, на площади появились первые разрушенные дома. Проводили мобилизованных товарищей, многие начали эвакуироваться. Нам на поезде уехать не пришлось — весь заработок израсходовали на поездку единственной дочки в Киев, и в доме было всего девяносто рублей...

Наконец наступил и наш день отъезда. Мой двоюродный брат Лева, брат его жены Иосиф и их друг Шамис с семьями (шестеро маленьких детей), мои пожилые родители и я двинулись в путь. Почти все время, сбивая ноги, шли пешком. На подводе — дети, жена брата с больными ногами и кое-какие захваченные нами вещи. Над головами стали проноситься самолеты. Заслышав их зловещий гул, мы бросались на землю, прятались в канавах. Помню, как нашли на поле неподалеку от леса огурец, и, разрезав его на кусочки, съели всей семьей. Сладостный вкус его до сих пор вспоминаю как дар божий.

Дороги были забиты беженцами. Слышался все приближающийся гул артиллерии, гул войны. Помню, как страшна была переправа через Буг, по понтонному мосту, где скопились сотни кричащих, заплаканных людей. Помню и одного советского лейтенанта в обнимку с молод-

кой-украинкой, угощавшей его вишнями. Они сидели у белой мазанки, спокойные и отрешенные от нарастающей паники. На мой вопрос, близко ли немцы, он насмешливо что-то хохотнул, и сердце мое вновь сжалось от недобрых предчувствий. Его расстегнутая гимнастерка, следы от сорванных лычек говорили о многом...

Помню ночевку в Тульчине. Я познакомилась с командиром стоявшей там части, умоляла взять меня в часть, чувствовала — нам с родителями не уйти, не успеть перейти Днепр, я хочу воевать, лучше погибнуть на фронте, принести пользу Отчизне, чем быть расстрелянной или задушенной фашистами. "Хорошо! Мы выходим утром. В пять утра я вас разбужу."

Когда я проснулась, солнце уже стояло высоко. Была тишина. По лицам родителей, по виноватым глазам поняла: часть ушла. Не могли отец и мать отправить свою единственную дочь на заклание. Я горько рыдала, понимая всю безнадежность нашего положения. Не могла я знать тогда, что судьба распорядится по-своему и в страшном пекле войны мы уцелеем. И, может быть, именно потому, что будем вместе, дыханием своим спасем друг друга.

...Настигли нас немцы в селе Терновка близ Белой Церкви, неподалеку от Днепра. Мы не успели на нашем допотопном транспорте перебраться через спасительную реку. Это удалось сделать семье моего будущего мужа. А мы — мы в глинобитной брошенной хатенке лежим, дрожа, на полу, перепуганные дети, до времени повзрослевшие, забились, как зверьки, по углам хаты. Мой отец, открывая дверь с улицы, входит бледный, как смерть: "Я видел первый немецкий танк..." Брызнувшие у меня слезы заставляют его продолжать: "Нюсенька, ты увидишь, наступит время, и я скажу: я видел первый советский танк". Поразительным было его пророчество. 19 марта 1944 года он скажет эти слова...

Что мы могли делать? Дорога вперед была отрезана. Оставаться в чужой деревне и ждать расстрела? Решили ночами лесом добираться до дому. Там ведь много людей, земляков. Не все уехали. Дома и стены помогут. Авось удастся спрятаться.

Вижу и сегодня длинный шлях, по которому, ближе к обочине, тянут кони нашу подводу. Только начинает светать. Добраться бы скорее до леса. Бледный, еле движется, опираясь на палочку и хватаясь за больное сердце, задыхающийся отец. Вдруг открывается дверь одной из хат, рассыпанных вдоль дороги. Выглядывает старуха и внезапно громко кричит — будит, по-видимому, расположившихся в хате солдат: "Эй, жиды поихалы!" Нам вслед раздаются выстрелы. Бог миловал на сей раз.

Мы все свободно говорим по-украински, а стремительно двигающиеся в огромных автобусах солдаты вермахта мало обращают внимания на нашу подводу. Я по самые глаза завязана платком (вдруг

привлеку их внимание). Господи! Какие же у них автобусы! Целые дома. Да мы в жизни таких не видели. И на каждом — "Берлин — Москва". Nach Osten. Вокруг валяются обертки от шоколадных плиток. Голодные дети начинают плакать. "Тише! Тише!.." Наконец благодатный покров леса принимает нас в свое лоно.

Деревня! В лесу стоят срубленные из дерева избы, так непохожие на расписные мазанки украинских крестьян. Мы — в русской старообрядческой деревне Пилипы. Нас окружают люди, жалеют, несут кто хлеб, кто яичко, кто молоко. Боже, какое счастье! Нас отводят в конюшню. Мы можем отдохнуть, переночевать. Я укладываюсь на пахучую солому в ясли. Слышно, как кони хрумкают сено, и так сладко засыпаешь, как в детстве в люльке.

Вдруг стук. Прибегает один из спасителей, шепотом предупреждает, что недобрый человек спешно покинул деревню: он может выдать нас. С сожалением, подняв спящих детишек, мы прощаемся с этим раем и вновь пускаемся в путь, навстречу неизвестности...

Перед самым Могилевом нас останавливает немецкий патруль. На руках у нас справка — разрешение на проезд, выданное каким-то немецким человечным офицером, пожалевшим детишек (Лева изъяснился с ним на ломаном полуеврейском, полунемецком языке). Но что это за ужасный запах, что это там жгут? Выяснили: через Днестр пригнали множество румынских евреев в ссылку. Больных и стариков, непригодных для передвижения и работы, уничтожают... В эти первые недели оккупации убили и дядю моего мужа —зубного техника Хаима Айзенкопа, осмелившегося подойти к своему дому.

...Домой нас не пустили. Да и не осталось там ничего. Соседи, близкие и дальние, разграбили все дотла. Уже после освобождения мне кое-какие семейные реликвии удалось отыскать.

Нас загнали в самый неприглядный район города, а через некоторое время велели возвести высокие каменные стены, за выход из которых полагался расстрел. Гетто. Нам велели вырезать из тряпок желтые звезды "Могендуведы"* и пришить к одежде, чтоб каждый мог сразу определить еврея. Мы были обречены на голод, болезни, медленное умирание.

Но самое страшное, для меня во всяком случае, было не это. Вчерашние наши соседи, земляки, друзья, школьные товарищи, горожане, крестьяне соседних сел — все бросали нам в лицо по-украински одно и то же: "Хватыть. Двадцять тры года вы пылы нашу кров!". Маруся Пичкур, моя соученица, кричала мне почти ежедневно через забор гетто: "Нюся, там вже нимци для вас ямы копають!" — и ухмылялась кривой радостной усмешкой.

---

*Могендувед — "щит Давида". Давид — царь израильско-иудейского государства в конце 11 в. — около 950 года до н.э.

А Ната, с которой были связаны тесно все мои школьные годы, переехала в новый особняк: ее отец стал "примаром" города. Ната хотя и навестила меня однажды, но в страшный час облавы, когда немцы забирали евреев в лагеря, а я, мало похожая на еврейку, босиком, с косами на плечах и в платочке, добралась до нее, она отказала мне в просьбе спрятаться в их погребе в старом доме на Дачной, в котором мы столько раз играли и мечтали вдвоем: "Ну, знаешь ли, неудобно, папа занимает такое положение..."

— Ната, ты что, замуж вышла? За кого?

— Ну, кем мог стать молодой человек при советской власти? За шофера.

Я ушла. Я выжила. Я избежала облавы: спряталась в погребе разрушенного наводнением дома. А наша соученица Женя Ваксенберг, живущая на другом от меня конце города, которую Ната могла бы, но и не подумала спасти, попала в Печерский лагерь за Бугом. Ее, как и сотни других, схваченных в тот страшный час, расстреляли...

А когда во второй раз началась облава (румынская администрация в Транснистрии* сама массовыми расстрелами не занималась: при молчаливом соучастии румын это делали немецкие, оккупанты), нашу семью спас простой украинский пекарь Иван Слипенький. Спрятал родителей в погребе и, надев на меня крестик, посадил со своими детьми в комнате. Зашли и ушли немцы, не обнаружив в его квартире ничего подозрительного. Да благославит Бог его потомков! В тысячный раз убеждаюсь: ни образование, ни высокий общественный статус, ни генетический код не определяют всецело человека. Только честное, доброе, бескорыстное человеческое сердце. А оно может быть у человека любой национальности. Вспоминаю не изменившееся отношение ко мне моих соучеников Гали Дубийчук и Жени Заболотного, поженившихся к тому времени и открывших небольшую лавчонку близ гетто.

Помню полные сострадания глаза крестьянина деревни близ Ямполя, щедро отсыпавшего нам муки. Я чувствовала, ему хотелось нам помочь. Ах, если б я могла убежать в их деревню. Но ведь путь туда далек, и кто поручится за его соседей?

Кто поручится? Ведь даже некоторые из наших учителей, уважаемых нами, стали неузнаваемыми. Наш классный руководитель Миколайчук Илья Иванович, математик, стал директором гимназии, а мы стали для него никем (ведь рано или поздно нас все равно уничтожат). Елизавета Ивановна Карягина, русовед, разъезжает в открытом ландо с офицерами (ее алиби в глазах оккупантов — дочь бывшего священни-

---

* Территория между Днестром и Бугом, отданная "великой Румынии" за союз с Гитлером.

ка). А школьный делопроизводитель, всегда с угодливо согнутой спиной продававший нам зóшиты (тетради) по 12 копеек за штуку, стал начальником украинских полицаев. Он выпрямился, и нагайка его со свистом рассекала воздух, и не только воздух... Мы попали в царство оборотней, надежда на спасение таяла. Я больше стала полагаться на погреба, чердаки, рытвины. Я готова была зарыться в землю. И уже после освобождения, студенткой в Киеве, сохраняла выработанный в гетто условный рефлекс: "Ой, девочки, вот здесь хорошо спрятаться!" Они недоуменно смотрели на меня.

Как мы жили, питались? Поначалу были еще вещи, можно было обменивать на продукты у крестьян. А потом созданная в гетто еврейская община начала выдавать тухлое пшено, чечевицу. Люди за щепотку соли, кусок хлеба, фунт муки отдавали последнюю одежду, снимали кольца. Помню, у матери возник панариций на пальце. Перепилили ее обручальное кольцо, обменяли на ржаную муку. В русской печи домика, где мы поселились, на Рыбной, неподалеку от Днестра (в домике было набито несколько семей), испекли четыре маленьких хлебца. Я стала на колени перед столиком, на который мы с мамой их положили, и со слезами на глазах поцеловала эти драгоценные теплые кружочки. Мы не позволили себе их съесть все: продав три из них на толкучке, вновь достали муки... И так в течение года я освоила профессии пекаря и продавца, спасала от голода семью. Мы получили возможность помогать хоть чем-нибудь и нищим беженцам-евреям из Румынии, которым на чужбине было еще горше, чем нам.

Приходилось в борьбе за существование браться за любую работу. Помню, как мы с отцом вычищали от грязи покинутые после наводнения дома на Греческой, превращенные в отхожие места, дав этим возможность румынским евреям обрести кров над головой.

А когда выпадала свободная минутка, я продолжала жадно читать книги, часто валявшиеся в покинутых, ограбленных домах. Книги грабителям были не нужны. Сколько я их прочитала! Тургенева, Гончарова, поэтов-символистов, любимого Пушкина. Не рассталась я и с математикой. Но все это заслонить реальную жизнь не могло.

Закрываю глаза, и сегодня вижу длинную вереницу мужчин, женщин, детей, которые приехали к нам еще в добротной одежде, хвалились своим недавним достатком — коврами и мебелью, дивились нашей нищете — и вскоре сами превратились в жалких, исхудалых, больных, пожелтевших (в гетто все заболели эпидемической желтухой) несчастных нищих, умирающих с голоду. Сколько их погибло на наших глазах! Особенно в 42-м году. Зимой на улицах валялись мерзлые трупы — их собирали на подводы, укладывали штабелями и сбрасывали в братскую огромную могилу на Шаргородской горе... Там и по сей день никого не хоронят: слишком густо усеяна костьми эта необъятная могила.

В эту зиму заболел и дорогой мой отец. Сыпной тиф. Не было поликлиник, не было лекарств, не было белья. Врачи, аптеки, больницы были вне гетто, не для евреев. Находившиеся в гетто еврейские врачи — наши и румынские изгнанники — так же голодали и болели. Они могли проконсультировать, помочь советом, но достать лекарство было почти нереальным. И все-таки, пробравшись через кордон нашей тюрьмы, мне удалось достать строфантин, кофеин, стрихнин и камфару, поддержавшие слабеющее сердце отца. Уколы делал доктор Витнер, один из изгнанников. А когда через некоторое время началась эпидемия брюшного тифа, и мы с мамочкой заболели, уже некому было помогать нам всем.

Навсегда врезалась в память картина болезни отца.

Воды не было, приходилось, крадучись, выходить к Днестру и, стоя на коленях, из полыньи набирать воду, а потом с трудом подниматься по обледенелой тропе в гору, спотыкаясь, нередко падая, расплескивая воду, и еще больше поливая этот крутой каток. Можно было брать воду из глубокого погреба на площади, но там вода шла по капле, и приходилось выстаивать часами в огромной очереди, а потом тоже подниматься — по склизким ледяным ступеням погреба. Приходилось стирать ежедневно одну простыню, потом сушить, заменяя другую, и так беспрерывно в течение трех недель. Тиф косил всех. Вши буквально кишели в одежде исхудалых, измученных людей. Но мы с мамой не заразились. Моя безмерная любовь к отцу давала мне силы и стирать, и следить за чистотой на двух — трех квадратных метрах, где мы находились, и петь ему песни на веселую детскую мелодию, заставляющую его улыбаться сквозь жар и муки болезни.

"Папа моя, люба моя, чтоб ты мене долго жила!" — пела я, коверкая слова и падежи русского и еврейского языков (на идиш* я начала говорить в гетто. Дома, до войны, я говорила только по-русски). До сих пор жалею, что не хотела учиться еврейскому языку, да и попыток со стороны родителей научить меня читать и писать тоже не было, хотя в Могилеве была в те годы еврейская школа. Мне больно и стыдно, что не могу прочесть сегодня еврейские надписи на памятниках моих предков, на которых попросила начертать и русские эпитафии "Да святится имя твое, Перл, наша незабвенная жена, мать и бабушка", "Самому любимому в мире отцу и дедушке Иойно"...

И он выжил тогда. На одиннадцатый день крупные капли пота появились на его лице; я думала: "Боже, неужели это конец?" Но это был кризис. Это было чудо! Счастье наше с мамочкой и сегодня не передать словами... Мне кажется, ангел-хранитель парил над нашей семьей, парит и поныне надо мной. Ведь кто-то же должен был остаться. Остаться, чтобы рассказать миру о пережитом. Остаться, чтобы дать жизнь новым поколениям. Остаться, чтобы не погиб наш маленький, многострадальный талантливый народ, великими идеями не раз оплодотворявший человеческую мысль. Я знаю по тем страшным годам, сколько

---

* еврейский жаргон

подлецов было среди евреев: предавали, готовы были подкупить румын, чтобы те в первую очередь забирали в лагеря "украинских" евреев, я слышала о подонках из общины, обкрадывавших умирающих людей...

Но значит ли это, что за одного Иуду или даже десятки иуд должен отвечать весь народ, давший миру великих мыслителей, музыкантов, философов, писателей, ученых и бесконечно огромную армию честных тружеников — глубоких интернационалистов, мечтающих о свободе, равенстве и братстве народов всей земли! К их числу из близких мне родных я прежде всего отношу своего отца, не раз спасавшего меня от отчаянья и смерти.

Помню, как в 1942 году, когда немцы заняли почти всю Украину, подходили к Кавказу, и надежды на спасение, казалось, уже не было, я пришла в состояние, граничившее с безумным решением — уйти из жизни. Мне казалось — все, конец. Моя любимая Родина гибнет, надежды на спасение не остается. "Папочка, — говорила я, — но ведь были же мрачные столетия средневековья, инквизиции; может, и сейчас наступает этот ад?.." Всей силой света, который в нем был, силой любви, горевшей всегда в его сердце, он убеждал меня не сдаваться, сохраняя во мне огонек надежды.

Вылилась она в моих первых стихах, написанных в день моего рождения 28 января 1942 года:

Я словно ввысь поднялась,
Всю землю окинула взглядом горячим
И с нею, родимой, слилась.
Видны на ней были потоки крови,
Слышны ругань и крики людей,
Я была, как в кровавом море,
Среди стонущих кораблей.
Земля раскрывала широко объятья,
И ямы на ней наполнялись людьми,
Погибших от холода, голода, мрака,
От пули шальной на военном пути.
Была она вся изрыта оспою —
Желчью, ненавистью мелких людей,
Стоящих у трона XX века
На раздорожье земных путей.
Я ожидала увидеть Землю
В лучах восходящего солнца весны,
Чтоб дети ее потеряли веру
В презренное жалкое слово — рабы.
Но нет. Новый рейс вокруг Солнца
С тобой я иначе, Земля, проведу.
Свободы лучи из родного оконца
Обнимут и горькую душу твою...

и т.д.

Неумелые стихи, но от сердца идущие, написанные в старой тетради для записи карандашом, в которой я начала вести по ночам дневник, — читаются сегодня как документ эпохи, — не сумевшей убить душу живую в истребляемом гитлеровцами племени.

Со страниц дневника, написанного обломками разных карандашей, а иногда чернилами, почти выцветшими от полувековой давности, передо мной встают часы, дни, недели, месяцы — годы моей юности, задавленной, но не уничтоженной фашизмом. Почему я обо всем, о чем пишу сейчас, не рассказала раньше, не показала никому своих записей?

Радость освобождения, годы учебы в университете, замужество, рождение детей, работа над диссертацией — все как-то отодвигало в необъятную даль будущего мои воспоминания. К тому же хорошо помню, как я словно холодным ледяным душем была в первый же день освобождения облита презрительно-снисходительным "Саррочка", произнесенным одним из наших солдат. А в годы учебы в Киеве стала свидетелем борьбы с космополитами, в число которых попали многие из любимых нами всеми преподавателей-евреев (историк Лев Ефимович Кертман, его жена — преподаватель советской литературы Сарра Яковлевна Фрадкина), и писатели, с которых, все равно что скальпы, снимали их литературные псевдонимы. Я помню страшное собрание в актовом зале университета, когда мы все сидели словно оцепенелые от страха и боли, а некоторые горячие комсомольцы, делающие карьеру, громили с высокой трибуны своих учителей, шагая по телам и душам новых политических мертвецов... Вспоминаю и ужас сообщения об убийстве Михоэлса, возглавлявшего Еврейский антифашистский комитет; дело врачей, из-за которого даже в нашем дальневосточном Благовещенске довели до самоубийства своим бытовым антисемитизмом прекрасного врача-гинеколога Хомир, не раз спасавшую тех, кто сегодня ее клеймил.

И я молчала. Подрастали дети. Хотелось оградить их от боли, от нравственных страданий. И молчала.

Самым большим счастьем стала работа, без которой я не мыслила уже себе существования. Полюбили меня студенты. Никогда не смотрела на свою работу только как на источник существования. Готова сейчас, как и в прошлом, работать за любую зарплату. Главное — работать, увеличивать в силу моих сил и способностей толику добра и света. Можно сказать, что 47 лет моей педагогической деятельности я посвятила борьбе с фашизмом, воспитывая в своих питомцах ненависть к любым формам геноцида, идеи гуманности и интернационализма. Мне казалось и кажется сейчас, что я делаю этим самым великое, благое дело для будущего. Не было ни одного курса, перед которым бы я не цитировала изречение древнего библейского пророка Гилеля —"Если я не за себя, то кто же за меня. Но если я только за себя, то зачем же я." Мещанство, как говорил Максим Горький, принимает только первую часть

этой формулы. И я клеймила мировое мещанство XX века, ставшее молчаливым пособником и соучастником преступлений, творимых фашизмом. Звала своих учеников к великим гуманистическим ценностям, посвятила этому немало своих статей и пособий, две книжки.

Свое прошлое, национальность никогда не скрывала. Писала об этом в биографии, заполняя анкеты, об этом говорили все мои документы. Не случайно на втором курсе Киевского университета мне — кандидату на Сталинскую стипендию — ее не дали из-за того, что была на оккупированной территории в гетто. А когда после смерти Сталина я, заливаясь слезами от потери любимого тогда нами вождя, решила вступить в коммунистическую партию — из самых высоких побуждений, — то меня, единогласно принятую на институтском собрании, не утвердили в горкоме партии. Обнаружили, что мои родители до войны переписывались с мамиными родственниками, находившимися за границей. Это был 1953 год... К сорокалетию Победы, выступив со статьей, славящей великую дату, я вспоминала в ней о счастливом дне освобождения нашего из гетто. Но... рассказать обо всем подробно не могла; знала, что на моей многострадальной родине меня, как и всех, ждет столько нежданных поворотов политических ветров. Не хотелось мне до времени бессмысленно погибнуть, оказаться в ряду диссидентов, потерять своих сыновей, любимую работу.

И я молчала. Но сегодня, когда вновь поднялась коричневая пена фашизма, когда бушует, изрыгая ядовитое пламя ненависти, "Память", когда даже уважаемые мною писатели клянут моих соплеменников, я, не представляющая себе другой родины, кроме той, на которой я родилась, которой отдала все свои силы и таланты, которую любить буду до конца своих дней, взялась за перо.

Приведу некоторые сокращенные записи из своего дневника.

Сохраняю язык, стиль и даже грамматические и стилистические погрешности. При сокращении слов дополняю их в квадратных скобках.

7 января 1942 года. Семнадцать прожитых лет остались позади, полные огня и жизни, кипучей и радостной... Теперь я сижу за столом, при слепом свете каганца, в сырой комнате, по стенам которой капает вода и лежит снег. Эта комната кажется дворцом по сравнению с теми трущобами, в которых ютятся евреи, высланные из Буковины и Бессарабии цветом современной цивилизации. Грязь, холод, голод, эпидемии... Ежедневно у нас по 30 — 40 минимум и 80 — 90 максимум мертвецов, которых из-за невозможности копать могилы (на дворе 20 — 30 градусов мороза) кидают на кладбище, и они замерзают на земле. А что будет весной! — пища собакам. Мне страшно смотреть на близких знакомых: не узнать. Мать и отец — истощены, постарели... Я чувствую, что за семь месяцев войны я стала взрослой — познала горе, лишения,

страх. Много крови и слез видала своими глазами. Надежды рухнули, как карточный домик. И хотя вера в будущее у меня жива и нетронута, как святыня, но доживу ли я? Доживет ли несколько процентов гонимого еврейского народа? — не знаю. Недаром мама дорогая говорит, что я постарела на пять лет. Мне еще так хочется жить и дожить. По улицам ходят живые трупы, покрытые вшами, жалкие, несчастные. А рядом — насильники, грабители, творившие разбой, убивавшие людей и сжигавшие их трупы на моих глазах. Люди-звери, которые закапывали живыми маленьких детей....

29 января. Где мои милые товарищи? Убиты, живы, ранены? Непроницаемая завеса закрывает от мира...

4 февраля. ...портной-буковинец еле дышит. Чувствуется, что человек тает, как свечка. И не он один. Так умер Р.* Вчера нам девушка-украинка принесла молока. Она пришла из плена из-под Мариуполя. Ей 18 лет. Но на вид ей можно дать 26, до того она измучена войной и, вероятно, издевательствами. С ней беседовал офицер-немец по-русски о широкой сети шпионажа в С.Союзе. Он сам работал в погранотряде советском у нас в городке...

4 февраля. ...народ гибнет. По городу идет сыпняк, тиф брюшной и др. Боишься впустить человека в дом. Мамуся расстроенная пришла на днях, видела, как вынесли девушку в мокрых рваных трико. Тело ее было в ранах и струпьях, из них сочился гной.

Этот труп швырнули в повозку, где лежали 10 других, и повезли. Родная земля! Нужно ли стреляться из-за любви? Где она, моя далекая любовь? Теперь смешно вспоминать о ней. И все же сердце иногда больно защемит. Милые мои далекие друзья Ю., Д., А. и др. “Голубыми туманами наша юность прошла, но словами-обманами ты ушла от меня...”.

7 февраля. Возобновились крестовые походы на евреев. Чем виновато это гонимое, жалкое теперь племя? Я лично в себе всегда чувствовала интернационалистку, такой я была всегда. А теперь я должна была понять, что я еврейка. ...Когда уже все люди станут равными, когда каждый поймет, что он человек, а не ариец, славянин или еврей?

8 февраля. Сегодня папка пришел и рассказал о взятии будто бы Киева и вообще о лучшем: инициатива перешла к К.А. [Красной Армии]. Сегодня воскресенье, погода чудесная, оттепель, падает снег. И настроение хорошее. В такой день не хочется слушать о плохом, о смерти. В такой день не хочется думать о победе врага. В такой день хочется думать о жизни, о ее радости, о будущем. Хочется верить,

---

*) Многие имена в дневнике обозначены буквами или инициалами (вдруг дневник найдут, и это навредит людям!). Некоторые буквы расшифровать уже не могу, забыла.

что все это только кошмарный сон. Что в конце концов человеческая справедливость победит. И я буду заниматься и жить! О! Если б это было так.

13 февраля. Всю ночь мамуся не спала: страшно нарывал палец, стонала, что нельзя было уснуть. Я же проснулась тоже не совсем здоровая...

Бедный Д. [Дима]. Где-то он и другие мои друзья? Доживу ли я до какой-нибудь, встречи с прошлым? *Бог весть*. У-у, что это я написала? Удобный оборот мысли на бумаге и в обиходе? Ничего! Мои убеждения от этого не пострадают. Только чтоб мамусе стало легче... Ох, как она страдает.

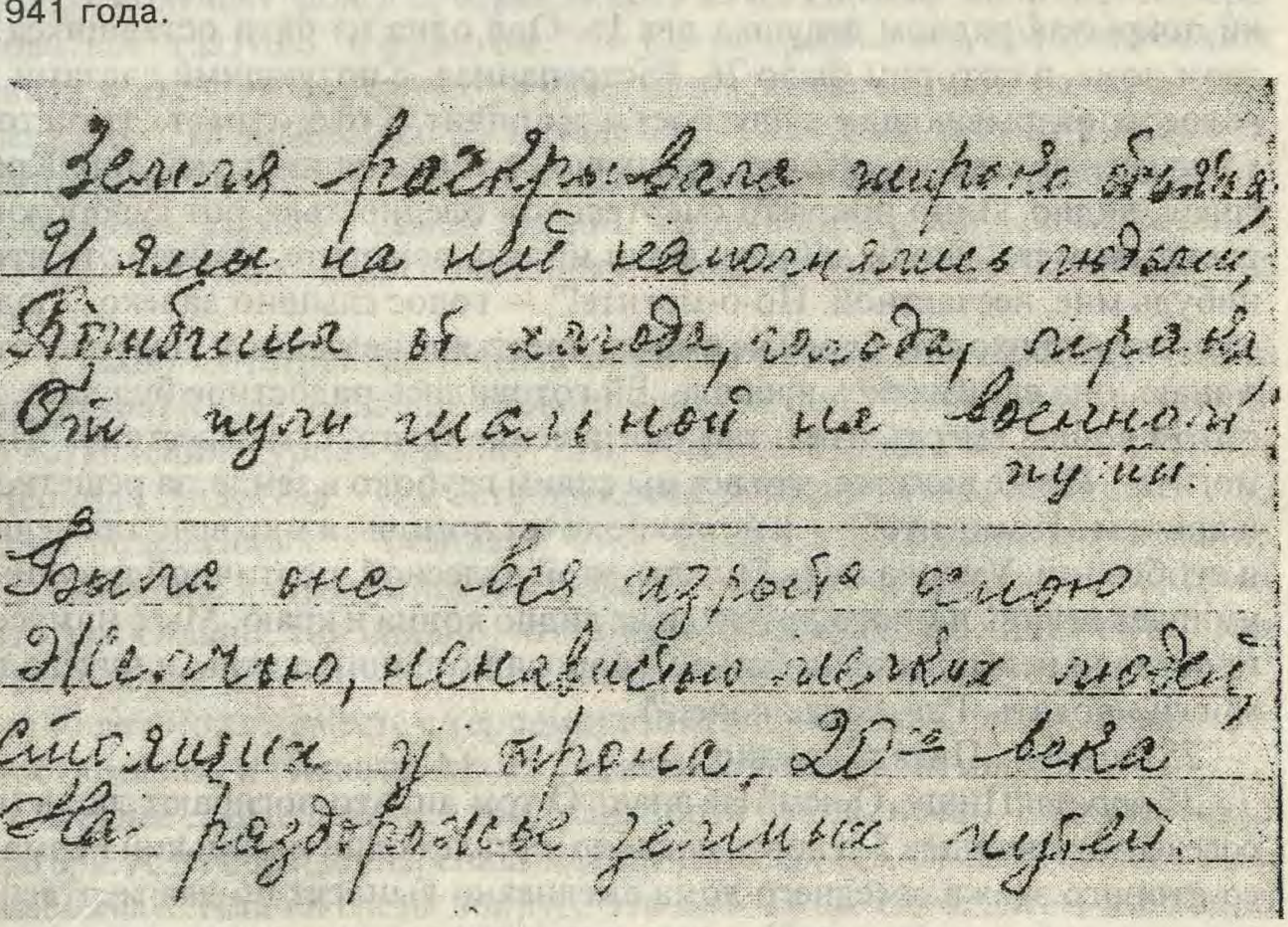
14 февраля. Японцы заняли Сингапур. Такую крепость — шутка сказать. Стыдно должно быть Англии. Неужели кусок за куском, часть за частью пропадет матушка-земля? Сегодня шла утром по воду. Два часа простояла утром в погребе за ведром чистой воды. Захожу в комнату и... о ужас! Возле печурки сидит на стуле... мертвец, да, живой мертвец. Весь обросший шерстью, черный, как смоль, длинный горбоносый нос кажется еще длинней, спускается на почерневший рот. Грудь, на которой можно пересчитать все ребра, открыта, а остальное тело покрывают лохмотья. Шапка надвинута на глаза, которые блестят жадным огнем голодного волка. Что-то знакомое в этой изогнутой к земле фигуре. Я узнаю его. Это — пекарь Ш. из буковинцев. Три месяца назад он пришел к нам франтом, работал, переворачивая горы, а теперь не может выпросить куска хлеба. Кровавого хлеба, из-за которого льются потоки крови. Таких Ш. — тысячи... Мама стонет, что будет с ее пальцем? Ох, как тяжело.

21 февраля. Давненько не писала, работая через силу... Вчера умер молодой мужчина, полный энергии и надежды... Даже в это тяжелое время он выкручивался и зарабатывал — вдруг умер, пролежав два дня. Оставил молодую жену, почти ребенка. Теперь она, Густа, одинокая, несчастная. В этот день погибло еще, вероятно, около сотни. И так каждый день.

28 февраля. ...Вчера видела ужасную картину: знакомая семья буковинцев — старик, старуха, сын 30 лет, бляхар [жестянщик], с женой, сестрой и маленьким чудо-ребенком полутора лет — Германом, славным мальчонкой. Теперь старик и сын уже умерли. Жена сына — в тифозном бараке. Сестра с отмороженными ногами, старуха и ребенок, от которого половины не осталось, ютятся в темном сыром складе, морозный воздух врывается в открытые для света двери, шевеля тряпки на полу и веревках. Дитя только схватило протянутый мной коржик и грызло, а совсем недавно ребенок смеялся и прыгал от имени "Нюся!" Ох, жизнь! Я иногда думаю о себе, анализирую, но как смешно теперь это в сравнении с жизнью.

10 марта. Умерло столько могилевских знакомых: Ш.Перельман

Н. И. Вайсман. А на портрете она же — за 5 дней до войны, 17 июня 1941 года.



Страничка со стихами из дневника 1942 года.

(отец Саррочки Перельман), Г.А.Барштейн, Грайцер. Больны: Дубовский — сильно, — Айзенкоп и Ривочка... А сколько кандидатов!

11 марта. Вдруг заходит жена пекаря и говорит, что, проходя по улице, видала объявление, содержание которого сводится к тому, что жиданям (евреям) можно ходить по улице только до 11 часов утра, а позже только в особых случаях (заболевание, работа и экстренный вызов). Что же это значит?!! Хуже тюрьмы! Население евреев на несколько тысяч больше украинцев в городе (с изгнанниками из Румынии и Буковины, а им нельзя ходить)... Не могу писать, не могу собраться с мыслями.

18 марта — 29 марта. (*записи о болезни папы*). Сколько я натерпелась в эти дни, перед кем спину не гнула!..

27 марта. Лед снес мост, построенный немецкими инженерами. Диву дался весь честной народ...

3 апреля. ...Папуся счастлив. Он говорит: пережил это, доживем и до Мессии. Англия начала оккупацию Франции, парижане принимают бомбы, как шоколад, "русы" делают успехи, но пока для нас плохо. Исходят "запасы". У кого нет вещей — тот голоден. У кого есть — продает за бесценок.

16 апреля. Все по-старому. Те же обманы насчет фронта. Полтава и Харьков по газетам взяты К.А. [Красной Армией]. А Киев — на языках. Жизнь кругом — кошмар... Дом с решетками. В крайнем окне у решетки покрытая рядном девушка лет 16. Она одна из пяти оставшихся в этом доме, в котором было 26. Растрепанная, с потухшими глазами, с голосом, разрывающим душу, поет или кричит. Кто его знает. Этот стон у нас песней зовется... Копна русых волос упала на немытый лоб. Красивая, видно. Лицо покрыто смертельной бледностью, рот судорожно раскрывается: "Люди добрые, люди милые, помогите. Дайте хоть что-нибудь мне, несчастной. По-о-могите!" — голос слышно далеко. Люди смотрят и проходят. Евреи не имеют, крестьяне не жалеют. Девушку эту я знаю, она занималась в школе. Ей готовилось радостное будущее. А потом война, смерть отца, тиф, воспаление мозга, сумасшествие. "Помогите!" И мне кажется, что все мы сидим глубоко в земле, за решеткой и кричим "Помогите!" — и никто не хочет помочь, а мир ведь так велик и необозрим. Умерла мать Гильды, этой чудесной, поэтичной девушки, умирает пекарь и много других, и не видно конца и краю. Мы с мамусей простояли целый день на базаре. Моросил осенний дождь, и ничего не могли продать. Где, когда конец?!

25 апреля. ...Писать трудно.

26 апреля. Пишу. О чем? Не знаю. О том ли, что погибают люди (из соседей-буковинцев 5 человек погибло, остался один маленький Герман, со второго этажа соседнего дома ежедневно выносят по два мертвеца, сегодня — мать пяти детей), о том, что евреи должны носить знак позора — еврейский национальный знак — могендувед, ходить только 4 часа

в сутки (11 — 1 дня и 6 — 8 вечера), или о том, что после папиной болезни мы должны около 200 марок и не имеем их отдать?

На улице едут и тарахтят тачанки. Со стороны Бессарабии перевозят подкрепление на фронт. Везут раненых, как видно, фронт близок. Говорят, Одессу взяли. Кто его знает. Ох, скорее бы, скорей!

2 мая. Вчера моросил дождь, но сегодня Май, да, Май! В эти два дня одна мысль перегоняет другую. Какой контраст ужасающий — май 1941 — май 42. Сегодня целый вечер я пела (обычно про себя или вполголоса). И лирические песни: мою любимую "Казачку" ("Расшумелся ковыль"), "Орленка", "Дан приказ...". А потом под силой воспоминаний постепенно лирика переходила в марш, патриотический марш: "Мы знамя былых походов..." Та-ра-ра. Бодрый, верующий, сильный. Эх, где она, наша могучая [далее неразборчивое слово], когда она придет? Я верую!

16 мая. ...Я работаю за двоих. Мамуся бессильна. ...Работа — не позор. Только бы не заболеть, только б пережить. Чтоб нас не выслали. Начинается недовольство. Это уже не крестьянин (я говорю об украинце), который радуется уходу жидо-большевистских "хазяев" и приветствует фашистское знамя. Но это уже крестьянин, с которого цивилизация Запада за 10 месяцев содрала 7 шкур, и который начинает сопоставлять, "що, як же воно, то выходыть, що там ... вже краще", который получает розги и, ограбленный каждодневно, начинает интересоваться "газэтою" и фронтом. Это уже не крестьянин, который боялся зайти к жиду — "зарижуть", а крестьянин, который, зайдя к еврею, жалеет его. "Чи знаемо, що з нами ще будэ", который бодрит и надеется. Теперь это уже не тот тыл, который изменил, а который жаждет (за исключением кулака и самой темной, затурканной религией части села). 23 года не столько дали колхознику... сколько эти 10 месяцев жизни под кнутом.

26 мая. ...отстраивают снова мост. По румынским газетам — взята [немцами] Керчь, большие кровопролитные бои у Харькова, идут слухи о вступлении Турции в войну. А я — читаю. Попала на один из томов Леонида Андреева. Там есть прекрасные вещи: "Иуда Искариот", "О семи повешенных", "Бездна", "07..." Произвело сильное впечатление, переживание людей различных слоев общества перед смертью... И все это так сильно, так сильно, что я невольно зарыдала. Горячий комок стал у горла. Да, это значит писатель — когда читающий книгу через 35 — 40 лет может вместе с героем и взойти на эшафот, и переживать радость жизни, и плакать. Мама удивленно глядела на меня...

1 июня. ...Выслали уже три транспорта буковинцев... В Сказенецкий лагерь. А теперь идет перепись могилевских евреев. С какой целью? Тоже высылка?.. Плач и слезы вокруг. Что он? "Будь что будет — все равно, все наскучило давно, трем богиням — вечным пряхам было прахом, будет прахом". Вот я и в символизм "вдарилась"!.. Очень туманна и тем-

на поэзия, как и наша жизнь, но также неясна надежда... Увидим, что принесет завтрашний день. В прошлом году [в этот день] сдавала геометрию.

24 июня. ...эти 23 дня принесли много страшных изменений. Это были такие дни, во время которых невозможно было писать, дни, которые останутся у нас проклятыми — евреев переписали и заговорили о высылке. Могилевские евреи несли жалкие остатки барахла на базар: самовары, корыта, пальто, швейные машины, одеяла, последнюю подушку. Все это продавалось за бесценок... Народ вторично ограбили. "Що, не хочэш взяты марку? (презренная монета), — все дно, даром забэру!" — выражение, слышанное мною на каждом шагу от крестьян, будь то старик, или парень — комс.[омолец], девушка или молодица. "А як мы у 33 роци, всэ виддавалы задаром?" — жестокая правда. "Лучше разбить, лучше сжечь, порвать, уничтожить!" — слышались крики кругом и везде. Официальный законный грабеж. Эти изможденные страдающие лица будут стоять перед глазами всегда.

Потом префектура объявила о том, что нас отправят в лагеря двумя транспортами. Поезд, правда, дадут. Община же (кучка ренегатов, набивающих деньгу) не имела даже связи с префектурой. Она имела связь с теми органами, которые выдавали продукты, дабы на них спекулировать. И когда община вышла на балкон, чтобы прочесть список первого транспорта, то толпа зарыдала, зарычала. Слезы вдов, сирот, детей, стариков. Люди идут на смерть. И тут рядом крики: "Община идет? — Нет, остается!?" — "Ничего, час расплаты настанет!"

Да, как был прав наш Пушкин, когда писал:"Народ всегда к смятенью склонен".

И я шла провожать 1-й транспорт. Шли люди — не люди, согнутые под тяжестью тюков, горя и времени, маленькие серые фигурки, как муравьи. А на подводах старики и дети. Вот 3 — 4 деток-оборвышей с молодой матерью-старухой, поседевшей от... мало ли от чего? И я шла, и сердце разрывалось. "Прощай, сестра! Проща-ай, мама!" — слезы и крики. Идут на гибель.

Вызывали на 1-й транспорт ... Были разделены семьи, дети от родителей и т.д. А солнце щедро поливало землю и смеялось, и со стороны казалось, что все это мираж. Движущаяся картина. Шли люди на базар, на работу, и все шло нормально. Потом оказалось, что оставили специалистов фабрик и кармана. И... снова крики протеста. Но разве есть правосудие, суд? "Но есть, есть божий суд, наперстники разврата, есть грозный судия, он ждет..!" Да, кто доживет, тот увидит. Мама Оскара выхлопотала ауторизацию — разрешение остаться. Я была в отчаянии: они останутся, а я пойду? Но они ушли, я осталась. Прятались два дня. И снова я одна. Ося ушел. Женя ушла, несчастная, со стариками родителями, и все ушли. Осталась горстка. Снова теснота, снова болезни. Нет

друзей, одни воспоминания. Где помощь, где исход? Когда?!!

Раскаты грома, все зеленеет свежестью под молодой летней грозой. Запахло озоном. Край тучи золотится солнцем. И кусок неба голубой-голубой, как море.

Июль. Как я отстала от жизни! От хода времени. Я даже не знаю числа. Стыд и позор мне. Я не могу сесть за дневник. Это время засасывает самые лучшие мысли и чувства... Слышен выстрел и окрик часового на незнакомом грубом языке. И песня замерла, еще не появившись. Померкло все и снова сон... Губительный, кошмарный сон...

13 июля. С папкой творится что-то неладное. Его отосклероз не в шутку разыгрался. Каждый раз припадки, головокружения. Сегодня три раза в аптеку ходила вне районов гетто, меня везде принимают за русскую... Один русский читал газету. Я заглянула. Тираспольская газета "Крушевана". Но все же правда, как ни печальна: взят Севастополь, Воронеж, синтетический каучук в руках немцев. Они уже подходят из Египта к родине евреев Палестине.

Сентябрь 1942. Я лежу. Больна брюшным тифом... Немцы терпят поражение от наших контратак, и это чувствуется во всем. Школы не работают. Вывозят все, будет голод, мы прифронт. [овая] полоса [*подчеркнуто*].

14 января 1943. Вечер. Мороз. Клонит ко сну. Безобразная и кошмарная жизнь. Дни идут за днями, черные, безобразные, как осенний дождь... Я потеряла себя, я растаяла во времени. Я хочу себя найти. Пошли мне, жизнь, человека, который помог бы мне найти себя, разбудить задремавшие струны, чтоб душа не заглохла, и я б отошла от этой мерзости... на простор, на свободу и смогла бы протянуть мои руки навстречу великому, нужному делу. О, жизнь, я тону, я совсем потеряла себя...

15 января. Пуд пшеничной муки стоит сейчас 150 марок. Эти цены буквально убивают народ. Дороговизна неимоверная. Наступление наших идет по всему фронту. Немцы уже были в Элисте, занимали все Закавказье. Теперь они отогнаны до Ростова. Называют пункты возле Ленин. [града?]. Великие Луки, Витебск. В Африке соединились армии союзников. Там, за рамкой наших несчастий, на фронте, жизнь бьет ключом. Люди бьются, умирают, изобретают, идет борьба за власть или за справедливость. Судьба воздаст за миллионы погибших жертв. Нем[ец]-кие районы очищены от евреев. А мы? — что время покажет.

Жизнь безобразная, унылая, с ее мелкими заботами и переживаниями, засасывает, как тина. Я потеряла два золотых года юности, учебы, радости. Сколько еще?

24 января. ...Сегодня, 24 января 43 г. 3-й год войны, 3-й год еврейского рабства, 3-й год нищеты, унижений и горя, 43-й год 20-го века, века культуры, науки, прогресса... Я спорю с Котляром — скептик, материалист,

умеет грубо острить и за словом в карман не лезет. ...В общих чертах, о мыслях, об учебе я рассказала моему собеседнику, а он смеется. Как могу я думать об учебе, об институте? Как смогу я заниматься, жить вместе с народом, который плевал мне в лицо, называя жидовкой? Как? — не знаю. Он националист, как и тысячи. А я? Я? Меня этот вопрос мучает, вот именно, где-то в глубине, почти уже 2 года. Но признаться, я слишком интернацион. [алистка], я слишком люблю мою родину... русскую литературу и русских поэтов, писателей и певцов счастья, музыку и песни.

Но мне жаль, жаль мой несчастный, страдающий народ, который влачит 2000-летнее существование изгнанника и раба, и когда я читаю Л.Ф. [Лиона Фейхтвангера] "Иудейскую войну", о разрушении 2 храма, мне хочется кричать, плакать, посыпать голову пеплом и плакать, как Эсфирь, Рахиль, дочь Бар-Кохбы. "Слушай, Израиль, един Бог наш Ягве!" Нет. Я не верю в Бога. Но почему я плачу? Где я? Как я найду себя?

25 января. Взяты нашими Харьков, Мариуполь. У крестьян немцы забирают последние продукты. Оставляют по 8 кг на семью. Голод. И вдали горит освобождение.

Может быть, кому-то записи мои покажутся наивными, с высоты века глупыми, ненужными. Но каждая из них писалась как крик души. Я ведь не надеялась, что кто-нибудь прочтет эти горестные страницы, я не показывала их ни отцу, ни матери — никому. Но мне нужно было в них вылить все, что накопилось на душе, иначе можно было бы, наверное, сойти с ума.

Более того, я, как и сотни других, находящихся в гетто, до самого конца оккупации не надеялась, что останусь жить. У меня всегда было такое ощущение, что острие ножа скользит по спине и в любое мгновение может вонзиться в нее. Жила "с ножом в спине". Это было не просто выражение, а постоянное ощущение.

Я помню, как уже в 1944 году, когда начали появляться наши самолеты под городом, выбежала во двор и протянула руки к небу. Боже! Пусть они сбросят бомбы! Какое это счастье было бы — умереть от этих бомб, только бы рука оккупантов не дотронулась до меня, не осквернила, не зарезала, не задушила.

Однажды, войдя в нашу хату, я увидела оцепенело сидящих у столика на табуретах моих родителей, а с ними — боже мой! — румынского солдата (впрочем, в знаках отличия я не разбиралась). Реакция моя была стремительной, как у вратарей. Я бросилась к тарелке, наполнила ее сливами, сорванными мной в заброшенном саду (как живая стоит она перед моими глазами, наполненная синими сливами) и, поставив ее перед румыном, пригласила его угощаться. Глядя на меня, он улыбнулся (понравилась), а я стремглав вылетела из дому, запыхавшись от бега, промахнула через несколько дворов и спряталась на чужом чердаке. Я

просидела там не меньше трех часов, а когда вернулась затемно, родители рассказали мне, что румын не хотел уходить и настаивал на свидании со мной. С трудом им удалось убедить его, что она совершенно чужая, случайно зашедшая к ним девушка.

И все-таки избежать роковой встречи с румынами мне не удалось. Уже в последний день оккупации, 18 марта 1944 года, когда в комнате у нас находились и румынские евреи, внезапно, зашел офицер. Они уже отступали, но не с пустыми же руками уходить! К их рукам липло все: деньги, вещи, продукты. И он кинулся к корзинке, в которой лежала подушка. Чертыхаясь — "Дутэ ля драка!"* — он никак не мог ее открыть. Боясь, что он в гневе может расправиться с побледневшим отцом, с матерью, я кинулась помочь открыть корзинку. Приняв этот порыв за агрессию, он выхватил пистолет и на расстоянии полуметра выстрелил мне в голову.

Пуля прошла мимо виска, почти коснувшись волос. Отец упал от ужаса, а один из румынских евреев начал по-румынски что-то быстро-быстро объяснять офицеру, и тот, продолжая ругаться, выбежал... Папа долго хранил пустую гильзу от патрона, выпущенную в его единственную дочку.

Да, ангел-хранитель (как не поверишь в это?) спас мою жизнь.

В этот день уже кононада вовсю гремела над городом. С Шаргородской и Озаренецкой гор раздавался свист наших "катюш", обстреливающих Атаки (поселение на правом берегу Днестра, в Бессарабии).

Я не могла сидеть дома. Я выбежала во двор и увидела каких-то мужчин в нижнем белье, прятавшихся в кустарнике и с испугом глядящих на меня. Это были немцы! Они сдирали с себя обмундирование! Они готовы были отдаться в плен, лишь бы выжить. Это были уже не те нордические Зигфриды, которые разбрасывали на дорогах обертки от шоколада и сжигали ни в чем не повинных людей. Это были жалкие трусы, цепляющиеся за жизнь.

А мы? Неужели мы доживем? Ведь даже в самую последнюю минуту нас могут еще уничтожить. И не зная, доживу ли я до утра, на каком-то румынском бланке, огрызком карандаша, я стала вечером при свете каганца писать письмо родине. Пусть она узнает о нас, о том, как мы ее ждали, как мы страдали.

Отчизна родная, мы ждали тебя...
О, как рассказать тебе
Ту жажду, томившую нас месяца
По тебе, счастливой земле...

Опять полились неумелые строки стихов, но и сейчас их перечитывая, я чувствую, как билась в висках кровь, как говорила я тогда от имени всех моих соплеменников, живых и мертвых...

---

*) "Проклятие" по-румынски.

Мученье и слезы, горе и страх,
Обида, рабство, гнет —
Вот календарь, нашей жизни, страна,
Пойми нашу муку, родная...
Ты знаешь, отчизна, твоих детей
Живыми закапывали в землю,
Земля, обагренная кровью людей,
Дрожала, стонала и плакала...
И лишь только утром, как солнце взойдет,
На Восток обращали мы взоры...
И ты, сияя утренней звездой,
Вселяла надежду в горе...
Ту веру в тебя мы носили в груди,
И губы часто шептали:
— Отчизна родная! Мы ждем тебя!..
Приди, мечта далекая!..
И тысячи наших погибли.
Вечная память, родные!..
Они завещали нам мщенье,
Оно пришло. Мы дожили.

* * *

Под окном затрещал пулемет,
Он саван строчит врагу,
Вот слышится свист снаряда,
Он смелет врага в муку.
На горе появилась "Катюша" —
Родная наша сестра,
Воплощенное мщенье в стали,
Она разит врага.
Не сон ли это, открой мне:
Ты вправду пришла сюда
Спасти, ободрить, успокоить,
Заживить наши раны, обнять?
Дети твои пронесли на штыках
Сквозь бурю и свист снарядов
Радость, свободу и жизнь нам,
Гордись твоими сынами.
Я слышу, строчат пулеметы,
Я слышу пушек гул,
Вижу птицу стальную, роты,
Пятиконечную звезду.

* * *

В этом грохоте силы,
В этих звуках могучих,
Мне слышится голос родной,
Голос вождя и друга...
Не могу удержать свое сердце.
Оно бьется в груди птицею.
Слова мои бледны, поверь мне,
Пропеть это счастье, отчизна.
Я плачу... Прочь слезы и горе.
Смеяться, петь и радоваться!
Да здравствует единственная в мире
Отчизна — мать родная.

Последние три строфы дописаны были утром, другого цвета карандашом, когда наши танки уже гремели по булыжной мостовой города.

Еще было гетто, но стены его упали. Ворота были раскрыты в широкий мир.

Что было потом? В первый же день я пошла работать секретарем военно-учетного стола, в полевой военкомат. А спустя два месяца, переехав из гетто в квартиру на улице Ленина, отыскав кое-какие награбленные у нас вещи, уехала в Киев, восстанавливаться в институт.

Велели сдавать экзамены. Но почему? Я ведь была уже зачислена.

— Да, но прошло 3 года.

— Я была в гетто, не до учебы было.

Бесполезно. Забрала свои вернувшиеся документы и подала на филфак университета. Пришлось сдавать экзамены не готовясь.

Заснуть в эту ночь 12 июля перед первым экзаменом не смогла. Видения разрушенного зеленого любимого красавца-города не давали покоя снова полились стихи, теперь уже по-украински. Они дороги мне и сегодня. И когда на следующий день предложили на выбор тему сочинений, я закономерно выбрала тему “Ніколи, ніколи не буде Вкраїна рабою німецькив катів!”

Начала его своими стихами о Киеве, а когда в октябре, в годовщину освобождения города, должен был состояться в театре Леси Украинки большой городской вечер, и стихов об освобожденном городе еще не было, кто-то из устроителей узнал о стихах первокурсницы филологического факультета, и меня пригласили прочесть эти стихи. Помню, как взметнулся занавес, и я, стоя на сцене, не видя зала (слепил свет юпитеров), волнуясь, страстно читала написанные мною стихи.

Я прислухаюсь до нічного міста...
Чудовая столиця Укрїни!-
Ти втілила всі наші кращі мриії,
Пережила ты радость з нами й сум...

Як я жадала бачити тебе,
О, мученнику неповинний!
Зелена мрія юності моеї,
Чудовий, любий Київ!
І я побачила: зруйнованний Хрещатик,
Облитий знову кровію Університет,
І ... Бабій Яр... О стогоне і плачу,
Коли замовкнеш ти?
Ти бачив все, мій любий, неповинний,
Ти сивим став, хоч вічно молодий,
Красу топтали чоботы чужіі,
Занапастили молодість весни...

— Помстись, помстись!
— Кричить, здається, кожен камінь,
Малі листочки зелені, скелет домів,
Іх вибитіі очі. Помстись...

Врятовано тебе. В нічному гомоні трамваїв,
В гудках заводів, фабрик, поїздів,
В цеглинах, складженних в штабелі,
Я чую, як відроджуешься ти.

Тебе зберіг незламний дух народу,
Що протягом віків боровся за свободу,
Страждав і мучився, але не здавсь,
І все навкруги, ніби каже знову:
— Ты не загинув. Ти діждавсь!

І шпилі древнього собору,
Богдан Хмельницький; його кінь,
І Дніпр широкий, і тополі,
І вся липнева ніч.
Вона, чудова, несе до мене
Твій аромат, зелений Київ,
Як я люблю тебе, мій рідний,
Що не загинув ти. Живий!!!

Я много в жизни выступала на концертах, на смотрах, но такого шквала аплодисментов не получала больше никогда. Стихи еврейской девушки — узницы гетто — выразили мысли и чувства сотен сидящих в тот вечер в театре людей...

Помню, как на первом курсе зимой мы узнали, что на площади Калинина, разрушенной, как и Крещатик, будут повешены 12 немецких военных преступников. Не пойти — не могла. На площади — наспех сколоченная виселица, как огромные деревянные козлы. Площадь запружена машинами — огромными американскими студебеккерами — и людьми, людьми... Вокруг, на крышах полуразрушенных домов с пустыми глазницами выбитых окон, лепятся люди, куда ни глянешь — влево, вправо, впереди на спускающихся к Крещатику домах Печерского района. К виселице не пускают. Я подошла со стороны Малой Житомирской улицы, и, когда подвезли фашистов и дернулись петли веревок, не выдержала: прорвалась сквозь толпу, через заслон машин, к самой виселице... Я так кричала... Он, этот крик, и сейчас стоит у меня в ушах. Нечеловечно! — говорю я себе сейчас, — негуманно... Но пережитые страдания были еще так близки. Раны кровоточили: к этому времени я узнала о судьбе всех погибших родных, о судьбе 6 миллионов сестер и братьев...

Писала же я в дневнике от 10 марта 1942 года, встретив соседку Якубович, забравшую мое пианино: "Если я доживу — тогда о-о!.." Я мечтала о "полном чувстве мести"...

Никому я не отомстила. Умела преступить через это. Да и что бы оно дало, мое мщение? Зло порождает только зло. Главное — что осталась жить, осталась человеком и всей дальнейшей жизнью старалась опровергнуть расхожее — "они все такие" — как говорили и говорят о моем народе. Не случайно к 50-летнему моему юбилею военная кафедра нашего института отметила, что, "невзирая на все пережитые страдания, она сумела сохранить любовь к людям". И, верно, не я одна. Ведь писал же очень точно Давид Самойлов о тех, "кто в сорок первом шли в солдаты и в гуманисты в сорок пятом".

Студентка университета Нюся Вайсман на Владимирской горке в Киеве. 7 ноября 1948 года.

Наоборот, мне хотелось помочь каждому, встречавшемуся на моем пути: поднести тяжелую корзину, спасти от обморока, поделиться последним куском хлеба... Я вытащила 200 тачек кирпичей на разрушенном Крещатике, стараясь каждым своим действием ускорить Победу, восстановить мирную жизнь.

Мы голодали и холодали на первом курсе в общежитии на Владимирской горке, занимались в нетопленных аудиториях (до сих пор остались следы обморожения на коленях), меняли пайку хлеба на картошку на Сенном и сообща, поджарив лук на рыбьем жире (вонь не выветривалась из общежития), варили суп и были счастливы. Счастливы, что мы живы, что война близится к концу, что мы можем учиться! Осуществилась моя мечта, которая и в гетто не угасла. Я писала тогда, 24 января 1942 года: "Учиться, знать, познать науку, искусство, жизнь, именно познать. Знать, знать и знать. Моя голова впитывала, готова была впитать, и теперь готова, все новое и новое. Ну а остальное: жизнь в материальной стороне меня не интересовала". С жадностью небывалой набросилась я на "гранит науки", смотрела на своих преподавателей как на мудрецов. Слушая античную литературу, которую читал нам ранее репрессированный профессор Шамрай, я одновременно читала про себя шевченковские строки "Столітнії очі, як зорі, сіяли і слово за словом сміялось, лилось", как бы написанные о нашем профессоре.

Одно время мы учились в третью смену с 8 вечера: университет был разрушен, и все 13 факультетов расположились в гуманитарном корпусе. Идя по вечернему Киеву с Галей Краевской (мать которой нередко подкармливала меня, жалея), мы любовались искрящимся снегом, говорили об учебе, о близящейся Победе, а у меня слагались в голове стихи:

Свежий морозный воздух,
Светлая ночь над Киевом,
Пляшут, искрятся в танце
Мириады звезд-снежинок.
С Галинкой идем из читалки,
Бредим Элладой, Римом,
Вспомнили о Геракле,
Боях под Саламином,
Алкее, Сапфо, Эврипиде,
Эсхиле, Аристофане.
Грезы смешались с гимном —
Победа над Германией!

Это был написано 26 января 1945 года. Победа действительно уже стремительно приближалась к нам. Но когда в майскую ночь загремели артиллерийские залпы, мы сорвались в ужасе, помня о бомбежке 22 июня,

выбежали в одних сорочках, и вдруг — о, счастье долгожданное! Это — Победа! Победный салют! Бросались друг к другу, обнимались, целовались, плакали от счастья и непроходимой боли перенесенных страданий.

Много лет прошло, много радостей дарила мне жизнь. Я с отличием окончила университет, руководителем моей дипломной работы о Брюсове была рекомендована в аспирантуру (хотя в "космополитическом" 1949 году о поступлении не могло быть и речи), вышла замуж, родила прекрасных сыновей, дождалась внуков, была всегда любима учениками, защитила диссертацию, четырежды избирали меня депутатом областного Совета, награждали, но ничто не может сравниться с бездонной радостью, которую я пережила в ту памятную ночь, и не я одна.

Так жданна была нами всеми эта Победа, что и не желалось больше ничего. Казалось: она придет — и все проблемы будут решены. Но открыла она эру новых проблем, не сняв собой старых, — увы! — и до сих пор неразрешенных.

1992 — 1997.